

А был ли казус?

Некоторые размышления об одной перебранке, которой, вероятно, никогда не было...

Сколько бы современные историки ни отказывались от претензии реконструировать прошлое, *как оно было на самом деле*, — где-то там, глубоко в подсознании у каждого из них живет эдакий червячок соблазна: уж я-то знаю *как*... К этому присоединяется не вполне осознанное стремление доказать всем (в том числе себе), что история — наука. И если уж Жорж Кювье когда-то заявил, что может точно воссоздать облик животного по одному сохранившемуся зубу, то историк просто обязан по одному-единственному упоминанию в источнике того или иного персонажа полностью воспроизвести биографию своего «героя», дать его психологический портрет и прояснить особенности его мышления. При этом как-то само собой забывается, что палеонтологи опираются в своих реконструкциях на естественнонаучные принципы. Кювье и его многочисленные последователи исходят из естественнонаучных закономерностей, которые достаточно однозначно определяют соотношения (корреляцию) органов у животных. В распоряжении же историков — помимо предельно скупой информации, почерпнутой из источника, — лишь собственная фантазия, подкрепленная принципом ассоцианизма, и ограниченная тем, что принято называть «здравым смыслом»...

В микроисторических исследованиях историк далеко не всегда (точнее, почти никогда не) располагает достаточным количеством необходимой «микроинформации». Естественно, с подобными проблемами сталкивается и «макроисторик». Однако для него масштабы описываемых событий и процессов делают подчас незаметными и/или «непринципиальными» «событийные лакуны», неизбежно возникающие по ходу исследования¹. Недаром внимание на то, что первым (хотя и не единственным) препятствием для историка становится «скудость свидетельств», обратил именно один из основоположников микроисторического подхода, К. Гинзбург. Исключения, подобные «делу Меноккио», когда в распоряжении исследователя оказались материалы двух

судебных процессов, документы, содержащие сведения о хозяйственной деятельности злополучного мельника и жизни его семейства, его собственноручные записи и неполный перечень прочитанных им книг, чрезвычайно редки. Впрочем, как подчеркивает сам К. Гинзбург, даже в этом случае «хотелось бы знать о нем [Меноккио] больше»².

В связи с этим — постоянно ощущаемым, хотя и не всегда до конца рефлекслируемым историком — дефицитом информации, необходимой для сколько-нибудь полной «реконструкции» (которая никогда не перестанет быть исследовательской конструкцией) изучаемого события, особое значение приобретают ее, так сказать, субъективные основы и проблемы верификации полученных результатов. В то же время обращает на себя внимание призыв «едва ли не первого зачинателя микроистории»³, другого итальянского историка Э. Гренди включать (при соответствующей интерпретации) анализ экспрессивных форм выражения и массовых представлений, обнаруживаемых в источниках, в общий анализ социальных процессов. В этом он видит, помимо всего прочего, единственную защиту от крайнего релятивизма, присущего некоторым наиболее радикальным направлениям современной историографии: «...образ не может быть лишь порождением иного образа; он связан также с ситуацией, которую одновременно отображает и организует. Историк может найти и проверить интерпретационные схемы, на основе которых эти социальные процессы могут стать понятными»⁴.

Впрочем, и «объективные» основания исторических (ре)конструкций, как известно, сами по себе создают массу проблем. Так, сетуя на сложность своего источника, В.К. Зиборов отмечает, что заниматься древнерусскими летописями «не просто трудно, а чрезвычайно трудно: столь многовариантными и несхожими получаются решения у разных исследователей. Например, некоторые историки считают поход Кия на Царьград действительным фактом, другие же относят его к легендам, а третьи рассматривают его как результат неверного умозаключения одного из летописцев конца XI в.»⁵. Естественно, споры относительно «историчности» (или легендарности) упомянутого события или персонажа могут продолжаться до бесконечности — если, конечно, не будет обнаружен источник,

прямо подтверждающий «глухое» сообщение летописца. Впрочем, в подавляющем большинстве надежда на это исчезающе мала.

Между тем, любая конкретная информация источника, несомненно, исторична, но не в том смысле, который имеют в виду историки, спорящие, действительно ли Кий ходил в Царьград. Она вполне реальна и бесспорна — в качестве сообщения как такового. И именно в таком качестве оно может быть *понято*, т.е. ему может быть возвращено «то самое значение, которое творец (автор) придавал своему произведению». Такое понимание А.С. Лаппо-Данилевский называл *интерпретацией* источника: «...можно сказать, что интерпретация состоит в общезначимом научном понимании исторического источника»⁶. В приведенной формулировке «общезначимость» может соответствовать лишь тому значению, которое остается неизменным при любом истолковании текста. А таковым, безусловно, может быть только тот смысловой ряд, который предусматривался автором этого текста.

В дальнейшем мы будем исходить из презумпции достоверности⁷ самого источника — как реальности, как текста, который его автор создает с обычно не формулируемой (а чаще всего, и просто неосознанной) претензией на объективность описываемого им. Мало того, древнерусский автор, — как и его «актуальный» читатель, — видимо, в подавляющем большинстве случаев свято верил в то, что всё было именно так, как он описывает⁸.

При таком подходе вопрос о достоверности текста источника переходит в иную плоскость: насколько адекватно наше понимание *этой* достоверности, этого *заведомо* достоверного текста.

Но тогда при каждом обращении к источнику возникают — не могут не возникнуть — казусы особого рода. Суть их кроется в том, что наше сознание (общие и частные представления о прошлом, система ценностей, логика восприятия и изложения) далеко не всегда «биологически совместимо» с сознанием автора источника и его «актуальных» читателей. Авторов дошедших из прошлого описаний сплошь и рядом интересовало вовсе не то, что волнует современного нам историка. Древнерусского книжника (в отличие от нашего современника) больше занимала не фиксация реальных деталей происшедшего, не вопрос о том, *как именно* происходило описываемое событие, — но каков был

смысл происходящего. При таких описаниях использовался специфический образный язык, ориентированный на сложную систему символов, аллегорий, сакральных аналогий. Нынешние же историки чаще всего склонны воспринимать подобные описания буквально, как «протоколно» точные записи, стремясь найти в них ушедшие «материальные» реалии, что не может не порождать вполне определенных противоречий. Если к тому же учесть, что современные представления о прошлом в значительной степени определяются привычными для нас «картинами прошлого», созданными историками-профессионалами, подобные казусы «стыковки/нестыковки» сознаний автора источника и современного исследователя оказываются «возведенными в степень» (причем, чаще всего, неизвестно в какую).

В связи с этим представляется небесполезным проследить сами «механизмы» конструкции/реконструкции «картины прошлого» современным историком, попытаться обратить внимание на ловушки, которые он расставляет сам для себя при освоении и интерпретации древнерусского текста, и хотя бы обозначить возможности и наметить пути верификации получаемых результатов. Соответственно, в данном случае нас будет занимать не столько проблема достоверности (в общепринятом смысле этого слова: можно или нельзя доверять свидетельству источника об обстоятельствах того или иного события, об участии того или иного персонажа в нем и т.п.) сведений, которые использует историк, сколько проблемы его собственного (не)(до)понимания своего «собеседника».

В качестве примера лучше всего выбрать локальный сюжет, почерпнутый из подлинного источника: небольшое описание какого-нибудь казуса, которое было бы в достаточной степени «проработано» современными историками. К тому же, естественно, было бы желательно подыскать и примеры такого историографического нарратива, который в максимальной степени воплотил бы «рабочие» моменты труда исследователя. К сожалению, как совершенно справедливо отмечал непопулярный ныне в нашей стране К. Маркс, процесс труда угасает в его продукте⁹. Не избегает этой участи и живой процесс исторического исследования, продуктом которого становятся опубликованные «академические» тексты. Степень такого «угасания» может быть различной — от голого перечисления «фактов», уже готовых выводов, до изложения, включающего, по

крайней мере, основные элементы и этапы творческой работы историка. Но даже в последнем случае исследователь публикует лишь то, что, по его расчету, будет принято профессиональной корпорацией. Наиболее же «еретические» мысли — особенно, если они основываются преимущественно на интуиции и (пока) не могут быть хоть как-то доказаны, — при этом обычно остаются «за кадром», предназначаются для «внутреннего пользования» (чаще всего, чтобы не повредить научной репутации автора). Тем самым при изучении вопросов, которые будут интересовать нас в данной статье, порождаются особые трудности источниковедческого характера.

* * *

Итак, «казус», так сказать, первого уровня: сообщение источника, которое мы можем воспринимать как описание реального конфликта, заинтересовавшего современников и способного вызвать интерес у нынешнего историка.

В «Повести об убиении Андрея Боголюбского» (в варианте, сохранившемся в Ипатьевской летописи) передается любопытный диалог, который происходит между одним из убийц князя, ключником Амбалом, и неким киевлянином по имени Кузмище. Последний обнаруживает утром 30 июня 1174 г. брошенный убийцами в «огороде» раздетый труп Андрея Юрьевича. Это заставляет Кузмище обратиться с упреком к Амбалу. Вот как передает их «беседу» летописец: «“Амбале, вороже! Сверзи коверь ли, что ли, что постьлати или чимь прекрыти господина нашего”. И рече Амбаль: “Иди прочь! Мы хотим выверечи псомь”. И рече Кузмище: “О, еретиче! уже псомь выверечи! Помнишь ли, жидовине, въ которыхъ порьтехъ пришелъ бьшетъ? Ты ныне в оксамите стоиши, а князь нагъ лежитъ! Но молю ти ся: сверзи ми что любо!” — и сверже коверь и корзно. И, обертевь и, и несе и в церковь»¹⁰.

Трудно отделаться от впечатления, что перед нами — запись непосредственного очевидца или даже участника этой короткой перебранки. Ее реальность почти не вызывает сомнений: столь живо и ярко передана она автором текста. От ощущения «эффекта присутствия» — всего один шаг до предположения о том, что Кузьма Киянин, который якобы беседовал с Амбалом, и был этим самым автором¹¹. Впервые такое предположение сформулировал К.Н. Бестужев-Рюмин¹². Впоследствии идея об авторстве Кузмища Киянина неоднократно обсуждалась в

специальной литературе¹³. Развернутую аргументацию такой атрибуции «Повести» привел Б.А. Рыбаков.

И тут мы сталкиваемся с «казусом второго уровня» — конфликтом понимания древнерусского текста нашими современниками. В интересующем нас плане труды Б.А. Рыбакова чрезвычайно интересны и показательны. Историк, обладавший прекрасной памятью и широким кругозором, феноменальным ассоциативным мышлением и интуицией, потрясающей работоспособностью¹⁴ и неумемной фантазией, Б.А. Рыбаков, фактически возглавлявший к тому же советскую историческую науку, на несколько десятилетий оказался вне критики. Все это давало ему возможность регулярно представлять вниманию научной общественности и развивать в многочисленных монографических исследованиях не только строго доказанные гипотезы, но и множество рабочих предположений и догадок, основательность которых вызывала и вызывает — порой даже после появления нескольких публикаций, насчитывающих десятки печатных листов, — серьезные сомнения. Сложившееся положение дел позволяло Б.А. Рыбакову в меньшей степени ориентироваться на формальные требования доказательности своих построений и гораздо свободнее, чем это допускалось и допускается в работах «рядовых» историков, обнажать ход собственных «черновых» рассуждений, включая формулировку весьма «еретических» мыслей. По существу, перед нами приоткрывается обычно скрытая от глаз постороннего «кухня», «творческая лаборатория» историка. Это делает работы Б.А. Рыбакова чрезвычайно показательными в плане изучения того самого — «угасшего» в подавляющем большинстве «академических» публикаций — процесса рабочих рассуждений, присущих практически *любому* историку, включая достаточно вольные ассоциации и фантазии «на тему», — что как нельзя лучше отвечает стоящим перед нами в данном случае задачам.

Так вот, основываясь всего на *шести* упоминаниях имени Кузмища в ипатьевском варианте рассказа об убиении Андрея Боголюбского¹⁵, Б.А. Рыбаков шаг за шагом «воссоздает» образ, который может поразить полнотой и объемом¹⁶. Кузмище «прежде всего не церковник, несмотря на знание им основной обиходной церковной книжности»¹⁷. «Не мог он быть и простым монахом»¹⁸. «Кузьмище не был и боярином», но «принадлежал все же к каким-то видным дворцовым людям,

долго прожившим при дворце (он помнил, что Амбал прибыл в бедной одежде, а теперь одет в бархат) и пользовавшимся весом и влиянием»¹⁹. «Он был прекрасно осведомлен обо всем, что делалось в замке и во Владимире», причем «знал не только внешнюю сторону событий, но и их внутренний смысл (переговоры заговорщиков с владимирцами)»²⁰. «Возможно, что Кузьмище был одним из “милостников” князя Андрея», причем «место Кузьмище на этой лестнице определяется его образованностью и книжностью»: «Кузьмище Киянин ничем не проявил знания ратного дела, но показал себя явно “крепким в словесах”»²¹.

Существенные дополнения в характеристику Кузьмища, по мнению Б.А. Рыбакова, вносят «особенности описания дворцовой церкви»²². Правда, именно в эти описания предварительно вносятся ряд «поправок»: некоторые описания архитектурных памятников не соответствуют представлениям исследователя о том, как древнерусскому автору следовало их выстраивать. Например, историк полагает, что после сравнения Успенского собора во Владимире с ветхозаветным храмом, построенным Соломоном, «нельзя возвращаться к таким мелочам, как флюгера и позолота на кровле; поэтому оказавшиеся лишними строки *должны* найти свое место за пределами описания Успенского собора»²³. После такого «оперативного» вмешательства в текст, он, по мнению Б.А. Рыбакова, позволяет выявить «полное равнодушие Кузьмы к архитектурным формам как таковым, к скульптуре, украшавшей замок, к фресковой росписи, к майоликовой декорации, известной по археологическим данным»²⁴. «Все его внимание, — продолжает Б.А. Рыбаков, — сосредоточено на двух видах изделий златокузнецов: на золотом узорочье с дорогими камнями и великом жемчугом, во-первых, и на всех решительно формах применения оковки, позолоченной медью, во-вторых»²⁵. Из этого следует вывод: все упоминания в Ипатьевской летописи золота, серебра, драгоценных камней и жемчуга в качестве церковного убранства, а также все упоминания закладки и отделки (но не строительства!) церквей на северо-востоке Руси принадлежат перу Кузьмища Киянина²⁶. Однако столь неопределенные «стилистические приметы» автора, пожалуй, не дают возможности сколько-нибудь надежно атрибутировать текст. Иначе Кузьмищу пришлось бы, пожалуй, приписать и сравнение великого священника Симона, сына Онии, который «при жизни своей исправил дом и во дни свои укрепил храм», с «кованым золотым сосудом,

украшенным всякими драгоценными камнями»²⁷, или, скажем, описание «великой блудницы», Вавилона в Апокалипсисе: «...жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей»²⁸, «великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом»²⁹.

При этом одной из важнейших исходных посылок является догадка, будто все оставленные Кузмищем «описания предназначались для современников, которые хорошо знали, мог или не мог он говорить в таких тонах с одним из главарей дворцового переворота», — т.е. только для ближайшего окружения Андрея Боголюбского, что само по себе странно. Во-первых, непонятно, зачем тогда потребовалось подробно описывать обстоятельства убийства Андрея тем, кто и без того прекрасно был осведомлен об этом? Во-вторых, если это действительно был «локальный» текст, предназначавшийся только для «внутреннего употребления», зачем его потребовалось вставлять в летопись? Если же учесть, что чуть позже Б.А. Рыбаков прямо называет Кузмища летописцем, оказывается, что вся летопись представляет собой такой «приватный» текст, потенциальными читателями которого должно было стать лишь ближайшее окружение князя.

Тем не менее именно столь зыбкие основания использует Б.А. Рыбаков для конструкции «биографии» Кузьмы Киевлянина. Опираясь на якобы присущий своему герою особый интерес к «узорочью», исследователь выдвигает «смелую» мысль о том, что тот был «главным декоратором златокованых храмов Андрея». Он прибыл во Владимир в числе мастеров, приглашенных князем из Киева и Чернигова. С начала 60-х годов XII в. он, как убежден Б.А. Рыбаков, начал вести «краткие годовые записи, преимущественно о строительных делах князя». «После победоносного похода на “поганных Болгар”» у Кузмища неожиданно «возникла идея создания летописи, прославляющей князя»³⁰, чем он и занялся, так сказать, в свободное от основной работы время. В 1164 г. в создании этой «краткой хроники» наступает перерыв, который продолжался, как считает Б.А. Рыбаков, примерно до 1172 г. Основанием для атрибуции текстов и здесь выступает «стиль Кузьмища», который, в свою очередь, определяется по текстам, приписываемым Кузмищу на основании... стилистических особенностей, присущих этому гипотетическому автору...

Однако на этом Б.А. Рыбаков не остановился. Для объяснения гипотетического перерыва Кузьмища в его гипотетической работе над летописью была высказана догадка, «что летописец-“хытрец” около 1165 г. уехал из Владимира в связи со строительством Боголюбовского замка и его двух храмов». В 1165—1168 гг. он якобы занят строительством в Боголюбове, а в 1169—1170 гг. наносит визит в Киев — «делать Золотые ворота... и украшать золотом какую-то церковь внутри города на Ярославовом великом дворе»³¹. «Возвращение» же «Кузьмища к летописному делу, возможно, связано с завершением всех строительных работ Андрея вне Владимира: в Боголюбове, а может быть, и в Киеве, куда посылались мастера создавать “золотую” церковь»³². В 1174—1175 гг. Б.А. Рыбаков отправляет «клеветра Андрея» в Чернигов, поскольку «было бы совершенно естественным, если бы придворный летописец Андрея Юрьевича... покинул опасный для него город вместе с уцелевшими Юрьевичами и прибыл с ними к давнему другу и союзнику Андрея Святославу Черниговскому». При этом уточняется, что «князю Михалку Кузьмище мог быть нужен в качестве грамотного свидетеля (!) событий в Боголюбовском замке с 29 июня по 3 июля 1174 г.»³³ Далее уже без всяких сомнений Б.А. Рыбаков пишет: «Оказавшись в Чернигове, Кузьмище прославлял своим пером как брата Андрея Михалка, так и самого Святослава Всеволодича и его сына Владимира. Это тем более естественно, что спустя некоторое время княжич Владимир женился на дочери Михалка Юрьевича, скрепив этим политический союз отцов. Кузьмище описал два похода из Чернигова, в которых Владимир Святославич успешно помогал своему будущему тестю». Наконец, «в последний раз знакомый нам стиль Кузьмища Киянина, восхваляющего золотое узорчье, встречается в летописи под 1184 г.»³⁴

Остается лишь добавить, что, по мнению Б.А. Рыбакова, Кузьмище мог выполнять еще и дипломатические функции (на том основании, что человек с таким же прозвищем, служивший у новгород-северского князя Святослава Всеволодича, в 1159 г. был направлен в Киев для решения вопроса о судьбе Ивана Берладника — с многозначительным добавлением: «...другие князья посылали с той же целью видных бояр»³⁵), а также занимался книжной миниатюрой (во всяком случае, ему приписывается если не авторство, то руководство «иллюстрированием летописи»³⁶).

Так, из краткого диалога, который якобы произошел между ключником Андрея Боголюбского и неким Кузьмой, который, скорее всего, был уроженцем г. Киева «воссоздается» «двадцатичетырехлетняя летописательская деятельность Кузьмища Киянина»...

В последнее время большинство исследователей уже не сомневаются в том, что «Повесть» написана именно этим персонажем³⁷.

С приведенными выше соображениями по поводу возможного авторства Кузьмища можно согласиться лишь при одном условии: если мы сможем доказать, что его перебранка с ключником Амбалом имела место «на самом деле», — или, напротив, все рассуждения по поводу того, кто такой Кузьмище, придется рассматривать лишь как забавное заблуждение историков, связанное с излишней «доверчивостью» к источнику. Напомню: предположение об авторстве Кузьмища основывается лишь на «эффекте присутствия», который «явственно ощущается» в рассказе о разговоре нашего персонажа с одним из убийц Андрея Боголюбского...

* * *

Еще раз оговорюсь: в данном случае нас интересует вовсе не критика взглядов и построений Б.А. Рыбакова. Гораздо важнее рассмотреть в этом материале *обычную* механику выстраивания привычной для нас «картины прошлого», скрытую (и, как правило, скрываемую от постороннего взгляда) повседневную практику работы историка- профессионала. Именно такой — кстати, по сути микроисторический — подход позволяет нам лучше увидеть моменты и степень «взаимного» не(до)понимания историка и автора источника.

* * *

Начнем с того, что даже авторы, склонные к прямому, буквальному пониманию текста, процитированного в начале статьи, делают подчас существенные оговорки. Так, Г.Ю. Филипповский отмечает: «...не исключено, что природа образа Кузьмища Киянина являлась по преимуществу литературной, независимо от его исторического прототипа. В “Житии Вячеслава Чешского”, которое, как и “Повесть об убиении Андрея Боголюбского”, рассказывает об убийстве князя заговорщиками-дворянами, действует персонаж по имени Крастей. Эпизод, где в “Житии Вячеслава Чешского” появляется поп Крастей, напоминает эпизод с Кузьмищем Кияниным»³⁸.

Действительно, в «Житии Вячеслава (Вацлава) Чешского» есть близкий эпизод: «Вячеслава же рассекше, отидоша и не съхраниша его. Крастен же поп взем, перед церковью положи и покры тонкою плащаницею»³⁹.

Созданное в середине X в. в Чехии и хорошо известное на Руси «Житие Вячеслава Чешского»⁴⁰ дает, как будто, прямой прообраз эпизода с убитым и брошенным телом князя. Поп Крастей «Жития Вячеслава Чешского», как и Кузмище Киянин, единственно проявляет заботу о теле убитого князя, хотя он, в отличие от Кузмища, ничего не произносит, не причитает и не прославляет своего убитого князя. По вполне резонному замечанию Г.Ю. Филипповского (который, кстати, первым обратил внимание на эту литературную параллель⁴¹), «тем самым приписываемое Кузмищу Киянину авторство и его сугубый реально-исторический характер могут считаться не более чем предположением. Литературная природа образа Кузмища не дает возможности рассматривать все произведение в целом как исключительно документальное. Собственно-литературные достоинства повести представляются основными, хотя ряд документальных, исторически достоверных данных по-прежнему не вызывает сомнения»⁴². Таким образом, обнаружение литературной параллели к интересующему нас разговору ставит под сомнение и достоверность самого разговора (как и документальность многих других описаний «Повести»), и, тем более, все рассуждения по поводу того, кем мог быть таинственный Кузмище. Тогда еще более проблематичным становится «традиционный» анализ этого казуса.

Возникают и новые проблемы. В частности, встает вопрос: зачем понадобилось автору (нас сейчас мало волнует, кто именно это был) вводить в повествование заинтересовавшую нас перебранку персонажей. Другими словами, принципиально важным становится для нас понять смысл разговора Кузмища с княжеским ключником.

Естественно, напрашивается «простое» решение этой проблемы. На первый взгляд, ключом к ней может стать смысл литературной параллели, обнаруженной Г.Ю. Филипповским. Однако, во-первых, и там смысл «происходящего» непрозрачен. Во-вторых, при общем совпадении сюжетов, Житие св. Вацлава не дает совпадений текстологических, что косвенно может указывать на его

смысловое и, скорее всего, функциональное отличие от интересующего нас «разговора».

Тем не менее попытаемся хотя бы в первом приближении прояснить семантику параллельного сюжета в Вацлавской легенде. Обращает на себя внимание, что в ней речь идет о *плащанице*, в то время как в «Повести об убиении Андрея Боголюбского» упоминаются *ковер* и *корзно* (княжеский плащ). Само слово *плащаница* прямо отсылает нас к сакральным текстам. Самым близким в этом отношении является рассказ об Иосифе Аримафейском в синоптических Евангелиях: «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился»⁴³; «И как уже настал вечер, — потому что была пятница, то есть день перед субботою, — пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба»⁴⁴; «Тогда некто, именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их; из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тела Иисусова; и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен»⁴⁵. Учитывая косвенное сближение (если не отождествление) — через эти тексты — не только «попа Крастена» с Иосифом, но и Вацлава с Христом, приходится признать, что к Андрею такая параллель вряд ли подходит. Хотя близость образа Кузмища с Иосифом, пожалуй, заслуживает внимания и более подробного анализа...

И все-таки в нашем тексте речь, видимо, идет о других образах.

* * *

В другой — гораздо более поздней — летописной повести, об убиении Михаила Тверского, мы читаем следующие строки: «Кавгады же [ордынский

посол] и велики князь Юрьи [Московский] послаша убици [к Михаилу Тверскому], а сами съседше с конь в торгу, близь бо бяше торгу, яко каменемъ верече. Убици же, яко дивие зверье, немилостивии кровопивци, разгнавше блаженнаго все люди его и въскочивъше въ вежу, обретоша его стояща и тако похвативше его за дерево, иже на выи его, и удариша имъ силно, и възломиша и на стену, и проломися вежа. Он же паки въскочи, и тако мнози имше его и повергоша на земли, и бяху и пятами нещадно. И се единъ ото незаконных именемъ Романецъ и извлекъ великий ножь, и удари и святого въ десную страну, и обращая ножь семо и овамо, и отреза честное сердце его. И тако предасть святую и блаженную свою душу в руже Господни месяца ноябрия въ 22 день въ среду въ 7 час дне... <...> Горесть бо се ныне, братие, и есть в отъ час видевши такую нужную смерть господина своего великаго князя Михаила. А бояре его и слугы не мнози гоньзуша рукъ ихъ, и еже деръзнули убежати в Орду ко царице, а иных изымаша, влечашуть нагих, терзающе нещадно, акы некая злодея, и приведше въ станы своя, и утвердиша я во оковех. Сами же князи и бояре в одиной вежи пяху вино, повестующе, кто какову вину изрече на святого...»⁴⁶.

В приведенном тексте следует отметить целый ряд моментов. Прежде всего, уже неоднократно обращалось внимание на связь «Повести» с рядом предшествующих произведений, повествующих о столь же трагичных событиях. В частности, несомненно влияние на нее «Повести о Михаиле и Феодоре Черниговских». При этом степень зависимости и, соответственно, оригинальности текста «Повести об убиении Михаила Тверского в Орде» оценивалась по-разному⁴⁷.

Для нас же важна несомненная близость этого рассказа к описанию гибели Андрея Боголюбского. Одной из родственных деталей представляется следующее упоминание: сразу же после убийства князя «вежу же блаженнаго разграбиша русь и татарове, а честное тело его повергоша наго никим же не брегомо. Един же приеха в торгъ и рече: “Се уже повеленое вами сътворихомъ”. Кавгадыи же и великий князь Юрьи приехаша въскоре надъ тело его, Кавгадыи же виде тело наго повержено и глагола съ яростию, рка къ великому князю Юрью: “Не братъ ли ти старейшии какъ отецъ князь великий? Да чему тако лежитъ тело его наго повержено?” Великий же князь Юрьи повеле своимъ покрыти тело его котыгою⁴⁸

своею, юже ношаше, и положиша его на велице дьске, и възложиша и на телегу, и увиша и ужи крепко, и привезоша и за реку, рекомую Аджь, еже зовется Горесть»⁴⁹.

Как видим, разговор между Кавгадыем и Юрием Московским едва ли не дословно повторяет перебранку между Кузьмой и Амбалом. Интересно, что в данном случае «роль» «ворога», «еретика», «жидовина» Амбала исполняет Юрий Московский! Он оказывается даже хуже Кавгадыя, который упрекает его в пренебрежении к «брату старейшему», который для московского князя «какъ отецъ князь великий».

Близость текстов, как мне представляется, подкрепляется и такой второстепенной, но довольно странной деталью: согласно тексту «Повести», у Михаила Тверского сердце располагалось с «десной страны», т.е. *справа*: «И се единь ото безаконных именовемь Романецъ и извлекъ великий ножь, и удари и святого въ десную страну, и обращая ножь семо и овамо, и отреза честное сердце его». Такая необычная «анатомическая» подробность тем более удивительна в описании убийства князя, поскольку, с точки зрения «здорового смысла», совершенно непонятно, зачем ее понадобилось упоминать.

В рассказе об убиении Андрея упоминается близкая деталь: в самом финале трагедии главарь убийц Петр отсекает «десную» (правую) руку князя, после чего тот умирает. Однако при изучении останков Андрея Боголюбского медики отметили, что «на правой конечности не было обнаружено ранений, тогда как левая верхняя конечность была рассечена во многих местах — и в области плечевого сустава, и в среднем отделе плечевой кости, и в среднем и в нижнем отделах предплечья, и в области пястных костей»⁵⁰. Другими словами, все удары саблями и мечами пришлись именно на левую руку. Правая же не пострадала.

Сами ранения левой руки объяснялись тем, что удары наносились, когда беспомощный князь завалился на правый бок и уже не мог подняться с пола. Иное, хотя и не менее удовлетворительное, на наш взгляд, объяснение предложил этому факту историк М. Г. Рабинович. Он предположил, что «искушенный в боях князь, не найдя на привычном месте ни меча, ни щита, бросился навстречу нападавшим, обмотав левую руку плащом или еще чем-нибудь, чтобы иметь возможность хоть как-то отражать удары»⁵¹.

Как бы то ни было, убийцы отрубили Андрею именно левую руку. И это хорошо знали современники. На миниатюре Радзивиловской летописи, иллюстрирующей рассказ о финале трагедии, женщина, стоящая подле поверженного князя, держит его отрубленную руку — именно левую, а не правую. Почему же в «Повести об убиении Андрея Боголюбского» автор пишет о «десной» руке?

Эксперты предположили, что рассказ об отсечении у князя правой, а не левой руки — плод ошибки летописца либо художественный прием, «чтобы сгустить краски и усилить эффект» (хотя, мне неясно, почему отсечение правой руки более эффектно, чем левой). Скорее, объяснение «ошибочной» подробности (как и «помещение» сердца Михаила Тверского справа) должно опираться на более надежные основания. Таковыми, на мой взгляд, могут служить авторитетные для летописца тексты, которые он косвенно мог использовать в своих описаниях.

Так, не исключено, что ключом к пониманию странной детали рассказа об убиении Андрея Боголюбского может служить следующий текст из Евангелия от Матфея: «И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну»⁵².

Но каким образом правая рука могла «соблазнить» Андрея?

Мотив отрубленной правой руки присутствует еще в одном эпизоде, связанном с Андреем Боголюбским: «Том же лете [6680/1172] чюдо сътвори Богъ и святая Богородица новое Володимири городе. Изьгна Богъ и святая Богородица Володимирская злаго и пронырьливаго, и гордаго лестьця лживаго владыку Федорьца из Володимиря от святое Богородици церкви Златоверхои. И о тои вся земля Ростовская, не въсхоте благословения, удалися от него. И тако и сьи нечътивыйи не въсхоте послушати хрестолоубиваго князя Андрея, велящую ему ити ставиться къ митрополиту Киеву, не въсхоте. Паче же Богу не хотящую его и святое Богородици извърге его изъ земли Ростовское. Богъ бо, егда хочеть показнити человека, отиметь у него умъ. Тако же и надъ симъ сътвори Богъ, отя у него умъ. Князю же о немъ добро мыслящую и добра хотя ему. Съ же не токмо не въсхоте поставления от митрополита, но и церкви вси Володимири затвори и ключе церковньныя взя. И не бы звонения, ни пения по всему граду. И въ зборнеи церкви, в

неиже чудотвореная Мати Божия ина вся святии ея, к неиже вси крестьяне страхомъ пририщють, утеху и заступницу имуще тя, ицеления от нея приемлюще душамъ и теломъ своимъ, и ту церковь дързну затворити. И тако Бога разъгневи и святую Богородицю, томъ бо дъни изъгнанъ бысть месяца мая въ 8 день, на память святаго Ивана Богословъца. Много пострадаша человеци от него въ держание его: и сель изнебыша, оружья и конь, друзии же роботы добыша, заточенья же и грабленія — не токмо простъцемъ, но и мнихомъ, игуменомъ и ереемъ. Безъмилоствъ сии мучитель другимъ человекомъ головы порезывая и бороды, а другимъ очи выжигаше и языки вырезывая, другыя же распиная по стене и муча немилостивне, хотя въсхытити от всех имение. Именія бо не бе съть, яко адъ. Посла же его Андреи к митрополиту Киеву. Митрополитъ же Костянтинъ обини его всими винами и повеле его вести в Песии островъ. И тамо его осекоша, и языка урезаша, яко злодею еретику, *и руку правую отсекоша* и очи ему выняша, зане хулу измолви на святую Богородицю. И потребятся грешници от земля, яко не быти им. И сбысться слово еуагельское на немъ, глаголющее: “Еюже мерою мерите, възмерится вамъ”, “Имже судомъ судите, судится вамъ”. “Судъ бо безъ милости не створшему милости”, — другое же слово молвить. Аще кто незаконно мучень будет, не венцается. Грешнии бо и zde по греху мучится, а на суде въ муку осудится. Тако же и сии бес покоя пребысть и до последняго издыханія, уподобився злымъ еретикомъ не кающимся, погубит душу свою и с теломъ. И погибе память его с шюмом. Такоже чтуть беси чтущая их. Якоже и сего доведоша беси, възнесше мысль его до облакъ, устроиша в нем втораго Сотонаила, и сведоша и въ адъ. Обрати бо ся болезнь на главу его, и на верхъ его неправда снидеть. Ровъ издры, ископа яму и впадеса в ню. То бо зъле испроверже животь свои»⁵³.

Столь пространная цитата потребовалась для того, чтобы показать отношение летописца к Федорцу. Дело в том, что едва ли не все претензии к епископу могут (и, видимо, должны) быть адресованы Андрею. Федорец — его ставленник. Именно его князь желал видеть во главе новой — Владимирской — митрополии, которую он задумал учредить, отделившись от митрополии Киевской «и всея Руси».

Представить себе, чтобы все злоупотребления, в которых обвинялся Федорец, могли совершаться без ведома Андрея Юрьевича, невозможно. Соответственно, все потенциальные обвинения Андрея приобретают дополнительные основания. Но в то же время, они находятся в явном противоречии с общим апологетическим тоном «Повести об убиении Андрея Боголюбского». Это серьезный контрдовод, но не бесспорный.

Известно, что все тексты, связанные с князем Андреем, после его гибели были подвергнуты редакционной правке. «Исправленные» места отражают резко враждебную ему позицию и содержат самые злобные выпады против него. Быть может, фраза об отрубленной руке — след такой редакционной работы, обличающей князя и реабилитирующей в какой-то степени его убийц? Тогда тот, кому это понадобилось (если, конечно, наша гипотеза верна) солидарен с заговорщиками.

К подобным «поновлениям» можно отнести и замечание о том, что Андрей изгнал из своей земли родственников и отцовскую дружину, «хотя самовластец быти». Дело в том, что само определение «самовластец» явно свидетельствует о непомерных (по тем временам) амбициям князя. Ведь «самовластец» — едва ли не претензия на богоравность: «Аще ли хочещи разумети, что есть самовластец, что ли подь властью, то разумей: апостоли под властью, а Спась — властелинь»⁵⁴.

В таком контексте, кстати, стало бы понятным, почему летописец считал, что Андрей «кровью мученичскою умывся пригрешении своихъ»⁵⁵, т.е. мученический конец как бы искупил грехи князя.

Совсем иной смысл, видимо, имело упоминание «десной страны», с которой якобы было расположено сердце у Михаила Тверского. Эту странную деталь, скорее всего, объясняют иные библейские тексты: «Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это и построить здание, для которого я сделал приготовление»⁵⁶; «Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем»⁵⁷; «Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем»⁵⁸; «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем»⁵⁹; «Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем»⁶⁰; «А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него; и

похвалятся все правые сердцем»⁶¹; «Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем»⁶²; «Свет сияет на праведника, и на правых сердцем — веселие»⁶³; «Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих»⁶⁴. И, наконец, самая «главная» для нас цитата: «Сердце мудрого — на правую сторону, а сердце глупого — на левую»⁶⁵.

Другими словами, по мнению автора «Повести», Михаил, судя по всему, — *мудрый праведник* (ср.: князь «крепкымъ... умомъ исполненъ смирения»).

Как видим, при внешнем совпадении «путаницы» правой и левой стороны у авторов обеих повестей были, скорее всего, совершенно разные мотивы ее внесения в описания... Естественно, можно выдвинуть и другие предположения, объясняющие «ошибки» летописцев в упоминаниях правой/левой сторон. Скажем, можно высказать догадку, что такая «путаница» была правилом при описании князей... Либо можно предположить, что подобные описания составлялись с точки зрения «внешнего» наблюдателя, и то, что летописцу представлялось правым, на самом деле было левым... Однако доказать такие догадки довольно сложно. Пока ясно лишь одно: подобные детали не могут восприниматься *буквально*, как «исторические реалии»...

* * *

Вернемся, однако, к разговору Кузмища и Амбала (или Кавгадыя и Юрия Московского). Судя по всему, бытовой, на первый взгляд, сюжет, эдакий маленький казус по поводу непокрытого тела князя, видимо, также выполняет в повествовании символическую или аллегорическую функцию. Он, скажем, может рассматриваться как своеобразное воплощение пророчества Иезекииля, обращенное к «дщери Иерусалима» (т.е., скорее всего, ко второстепенному городу, зависящему от другого города; в первом случае речь могла идти о Владимире, во втором — о Твери) и предсказывающее ее возрождение и великое будущее: «...так говорит Господь Бог дщери Иерусалима: ...ты выброшена была на поле, по презрению к жизни твоей... И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание... И вот, это было время твое, время любви; и простер Я воскрилия риз Моих на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, — и ты стала Моею. Омыл Я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем. И надел на тебя узорчатое платье... И пронеслась по

народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог. ...Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, — и предам тебя кровавой ярости и ревности; предам тебя в руки их и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою. ...И утолю над тобою гнев Мой, и отступит от тебя негодование Мое... Я вспомню союз Мой с тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз. ...Я восстановлю союз Мой с тобою, и узнаешь, что Я Господь»⁶⁶.

Вместе с тем, нагое тело князя, прикрытое накидкой, могло ассоциироваться с юношей, который — единственный! — последовал за Христом, когда Того схватили и все, оставив Его, бежали: «Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его»⁶⁷.

Однако самой «прямой» параллелью к нашим текстам, видимо, служит хорошо известный библейский текст, повествующий о непочтительности Хама к своему отцу, за что сын Ноя впоследствии был проклят отцом: «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер»⁶⁸.

Если в основе «казуса» с покрытием обнаженного трупа князя действительно лежит этот прообраз, мы имеем дело не столько с «документальным» описанием реального события, сколько с оценкой самого факта убийства Андрея (или, в

другом случае, — Михаила Тверского), его убийц и, главное, с характеристикой возможных последствий самого убийства для дальнейшей судьбы Русской земли.

Деталь о покрытии нагого тела Андрея и (или) Михаила, могла рассматриваться читателями как своеобразное предвестие освобождения Русской (православной) земли, связанного с новым «политическим» центром, сохраняющим верность конфессиональным традициям. В качестве такового в первом случае, видимо, рассматривался Владимир, во втором — Тверь (во всяком случае, не Москва!). Но, главное, эта «казусная» деталь оказывается не столько описанием реальных деталей реального события, сколько, так сказать, казусом его осмысления: в данных случаях, вероятно, нравственного выбора, который совершают — в глазах авторов повестей об убиении князей — сам убиенный князь и его убийцы и который принципиально «разводит» их⁶⁹. При этом «конкретно-исторический» казус как таковой исчезает. Зато остается «главный» для нас казус, который в данном случае кроется в «нестыковке сознаний» летописца и нынешнего историка. И еще «казус» состоит в том, что столь привычная для нас картина прошлого, созданная историками-профессионалами, при ближайшем рассмотрении подчас оказывается результатом целого ряда недоразумений. Основываясь на них, историк, в силу своего принципиального непонимания «собеседника» из прошлого, выстраивает некий образ минувшего, имеющий весьма далекое отношение к тому, «как это было на самом деле» — и этот казус, несомненно, *был*. Он рождается в тот самый момент, когда мы выбираем новую точку зрения, оказываясь в позиции «внеаходимости» по отношению к «принятой картине» былого...

Здесь, впрочем, уместно заметить: предлагая свою интерпретацию приведенных сюжетов, мы и сами порождаем новый «казус» такого рода — возможно, для самого автора и не заметный, но зато очевидный какому-нибудь другому историку — может быть, уже сегодняшнему и уж наверняка — будущему... Как и все прочие историки, автор лишь реализует свое право на интеллектуальный эксперимент и ни в коей мере не пытается «провозглашать историческую истину». Проявлением «гордыни» является в данном случае лишь претензия на то, чтобы сделать результаты такого эксперимента проверяемыми. При этом «проверяющий» вовсе не «обязан» соглашаться с автором. Однако его возражения не должны сводиться к эмоционально-оценочным суждениям. Они

должны опираться на тексты (в самом широком понимании этого слова) — единственную реальность, с которой имеет дело историк.

- ¹ В крайних формах это может породить подходы, подобные тем, которые пытался обосновать Л.Н. Гумилев. Создавая свои «синтетические» труды, он прямо отказывался от «мелочеведения». Л.Н. Гумилев считал себя вправе игнорировать ту или иную источниковую информацию, если она не «вписывалась» в его построения (правда, с такой же легкостью он не останавливался и перед использованием крайне недостоверных сведений, если они соответствовали его представлениям о прошлом). Подробнее см.: *Данилевский И.Н.* Русские земли глазами современников и потомков: XII—XIV вв. М., 2000. С. 336—345.
- ² *Гинзбург К.* Сыр и черви: Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000. С. 31.
- ³ *Бессмертный Ю.Л.* Что за «Казус»?.. // Казус-1996. Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1997. С. 21.
- ⁴ *Гренди Э.* Еще раз о микроистории // Там же. С. 300.
- ⁵ *Зиборов В. К.* О летописи Нестора: Основной летописный свод в русском летописании XI в. Л., 1995. С. 22.
- ⁶ *Лапто-Данилевский А.С.* Методология истории. СПб., 1913. Вып. 2. С. 408.
- ⁷ «Презумпция достоверности» принципиально отличается от «презумпции подлинности», вокруг которой во второй половине 60 — 70-х годов прошлого века разгорелась довольно оживленная дискуссия. «Презумпция подлинности» (по аналогии с презумпцией невиновности в уголовном праве), на соблюдении которой настаивали Б.А. Рыбаков, А.Г. Кузьмин и некоторые другие исследователи, подразумевала, что историк имеет право использовать в качестве источника любой текст, пока не доказано, что он — подделка. Их противники (А.А. Зимин, Я.С. Лурье, В.Б. Кобрин и другие, чью точку зрения, безусловно, разделяет и автор этих строк) полагали: до тех пор, пока не доказано, что данный текст является подлинным, использовать его в качестве исторического источника нельзя. Что же касается «презумпции достоверности», то ее можно сформулировать следующим образом: доказав подлинность источника, историк *обязан* (я уж не говорю: вынужден) считать его достоверным.
- ⁸ Ср.: «Эмпирической основой исторической науки служат только источники — теоретически это обстоятельство известно любому студенту, но в практике научного исследования авторы иногда забывают о нем, противопоставляя “слова” (цитаты из источников) — “фактам”. Конечно, за показаниями источников должны стоять, и часто действительно стояли, факты — реально происходившие исторические события, однако до нас, к несчастью, дошли именно “слова” (или иные виды показаний, если источник — не письменный) — и нам надлежит прежде всего прийти к какому-то заключению о достоверности этих показаний» (*Лурье Я.С.* О гипотезах и догадках в источниковедении // Источниковедение отечественной истории: Сб. статей. 1976. М., 1977. С. 26—27).
- ⁹ *Маркс К.* Капитал // *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 191.
- ¹⁰ *Ипатьевская летопись* (Полное собрание русских летописей. Т. 2). М., 1998. Стб. 590—591.
- ¹¹ Видимо, предполагать, что «Повесть» могла быть написана другим «собеседником», не позволяют ругательства в его адрес, «сохраненные» в тексте. Как можно думать, с точки зрения «здорового смысла» историков, автор «не имеет права» создавать текст, в котором сам он выглядит не лучшим образом. Кстати, последнее утверждение никем не доказано...
- ¹² *Бестужев-Рюмин К.Н.* О составе русских летописей до конца XIV в. СПб., 1868. С. 105—107.
- ¹³ Подробный анализ работ, в которых доказывалось авторство Кузмище, см.: *Воронин Н.Н.* Повесть об убиении Андрея Боголюбского и ее автор // История СССР. 1963. № 3. С. 80—97. Следует отметить, что результатом такого анализа стала гипотеза о том, что автором «Повести» был вовсе не Кузмище, а поп Микула. При этом подчеркивалось, что рассказ Кузмища послужил Микуле одним из источников, однако был «дополнен конкретными подробностями, которых не мог знать пришлый киянин», «живыми реальными подробностями, хорошо знакомыми читателю» (с. 86). Кстати, одним из аргументов в пользу авторства Микулы Н.Н. Воронин считал... *умолчание* об участии самого Микулы в отпевании Андрея: «Микулица не назван, хоть явно и участвовал в ходе дела» (с. 87)!
- ¹⁴ Чего стоит одна его книга «Ремесло древней Руси» (М., 1948) — монография, которая в значительной мере не устарела и сегодня, через полвека.
- ¹⁵ Кузмище в этом рассказе появляется внезапно и так же внезапно исчезает. Впервые он упоминается сразу после рассказа об убийстве князя и начале грабежей во Владимире: «И тече на место Кузмище Киянинь, оли нетуть князя — убьень. И почаша прошати Кузмище: “Кде есть убить господинь?”. И рекоша: “Лежить ти выволочень в огородь. Но не мози имати его. Тако ти молвять вси: «Хочемы и выверечи псом. Оже ся кто прииметь по нь, тотъ нашъ есть — ворожьбитьъ есть. А и того убьемъ»”. И нача плакати над нимъ Кузмище...» Тут-то на «сцене» и появляется Амбал. Между ним и Кузмищем происходит «наш» разговор, в результате которого Кузмище приносит завернутое в плащ и ковер тело князя к церкви: «И рече: “Отомъкнете ми божницу!” И рекоша: “Порини и ту, въ притворе”. Печаль ти имъ уже: бо пьяни бяхуть. И рече Кузмище: “Уже бо тебе, госопдине, паробьци твои тебе не знаютъ...” И тако положивы и въ притворе, у божници, прикрывы и корьзномъ» (*Ипатьевская летопись*. Стб. 590—591). Вот, собственно, и все, что известно нам о Кузмище. В Лаврентьевской летописи Кузмище вообще не

- упоминается; согласно лаврентьевскому варианту «Повести», тело Андрея из Боголюбова во Владимир перевез игумен Феодул «с клирошаны»: Лаврентьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Т. 1). М., 1997. Стб. 370. Тем не менее, Б.А. Рыбаков считает, что эти упоминания в «Повести» предоставляют исследователю вполне «достаточно сведений о своеобразном облике ее автора» (Рыбаков Б.А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972. С. 104).
- ¹⁶ Рыбаков Б.А. Русские летописцы... С. 78—130. При этом, правда, автор вскользь оговаривается: «Оставим для удобства за этим автором его условное имя — Кзьмище Киянин» (С. 113; курсив мой. — И.Д.).
- ¹⁷ Там же. С. 90.
- ¹⁸ Там же..
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ Там же. Добавлю: все это может иметь отношение к Кузмищу лишь при условии, что тот действительно был автором «Повести», поскольку все выводы Б.А. Рыбакова строятся на том, что и как описывается в тексте «Повести».
- ²¹ Там же. С. 91. Заметим, и это утверждение опирается на приписываемом ему авторстве «Повести».
- ²² Там же. С. 98.
- ²³ Там же. С. 93 (курсив мой. — И.Д.).
- ²⁴ Легко заметить, что перечень того, на чем *не сосредоточивалось* внимание автора «Повести», можно продолжать до бесконечности: любое описание не может охватить *все* явление целиком, во *всем* его многообразии. Представляется непродуктивным в подобных случаях делать какие бы то ни было выводы из фигуры умолчания.
- ²⁵ Рыбаков Б.А. Русские летописцы... С. 98.
- ²⁶ Там же. С. 104—109.
- ²⁷ Сир 50 1, 10.
- ²⁸ Откр 17 4.
- ²⁹ Откр 18 16. Ср. «первую заметку» под 1155 г., которую Б.А. Рыбаков атрибутирует Кузмище: «И вкова в ню [имеется в виду икона Владимирской Богоматери] *боле триидесят гривен золота, кроме серебра и камня драгого и женчюга и украсив ю, постави ю в церкви своей Володимери*» (Рыбаков Б.А. Русские летописцы... С. 105 — курсив Б.А. Рыбакова; любопытно, что в данном случае Б.А. Рыбаков без всяких оговорок цитирует (к тому же не совсем точно) не Ипатьевскую, а Лаврентьевскую летопись, в которой имя Кузмище вообще не упоминается (ср.: Лаврентьевская летопись. Стб. 346). Еще один пример — и вновь из Лаврентьевской летописи, и вновь не совсем точно: «Создана бысть церкы святая Богородица в Володимери благоврным и боголюбивым князем Андреем. *И украси ю дивно многорозличными иконами и драгим камнем бес числа и сосуды цекрковными. И верх ея позлати*» (Рыбаков Б.А. Русские летописцы... С. 106 — курсив Б.А. Рыбакова; ср.: Лаврентьевская летопись. Стб. 351).
- ³⁰ Рыбаков Б.А. Русские летописцы... С. 110.
- ³¹ Там же. С. 126.
- ³² Там же. С. 112.
- ³³ Там же. С. 119.
- ³⁴ Там же. С. 122 (курсив мой. — И.Д.).
- ³⁵ Там же. С. 124.
- ³⁶ Там же. С. 126.
- ³⁷ Приведу характерный пример: «“Повесть” знакомит нас с видным сподвижником князя, имевшим, вероятно, прямое отношение к украшению Владимирской земли прекрасными белокаменными зданиями,— Кузмищем Кияниным. (Б. А. Рыбаков видит в нем лицо, ответственное за поставку ювелирных материалов, декоративных и иных убранств для дворцов и храмов Боголюбова и Владимира.) Кузмище не боится вступить за честь своего князя. Он обращается с упреком к главарю заговорщиков Амбалу Ясину, вынуждает его спустить вниз на дворцовую площадь ковер, которым укрывает тело убитого князя. Образ Кузмища в “Повести об убиении Андрея Боголюбского” передает живую атмосферу того времени, реальную обстановку, царившую в Боголюбове и Владимире после убийства Андрея Юрьевича». И далее: «Плач Кузмища далек от христианского ханжества, — это плач, — прославление заслуг погибшего князя в победах над врагами, в укреплении международного авторитета княжества, в строительной деятельности. Сочетание мотивов плача и славы — характерная особенность Ипатьевского списка — редакции “Повести об убиении Андрея Боголюбского”. Здесь то же сочетание эпического и лирического планов, которое отличает и “Слово о полку Игореве”. Примечательно использование в тексте украинизма “паробьць”, что указывает на южнорусское происхождение редакции повести в Ипатьевской летописи и служит дополнительным аргументом в пользу признания Кузмища Киянина создателем произведения» (Филипповский Г.Ю. Столетие дерзаний: Владимирская Русь в литературе XII в. М., 1991. С. 117).
- ³⁸ Там же. С. 117.
- ³⁹ Сказание о начале Чешского государства в древнерусской письменности. М., 1970. С. 85.

- ⁴⁰ Подробнее см.: Мочалова В.В. Чешская литература // История литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. 1: От истоков до середины XVIII века. С. 262—268.
- ⁴¹ Ср.: «Начало современному исследованию чешско-русских литературных связей раннего периода X—XII вв. положило открытие и публикация замечательным ученым-филологом А.Х. Востоковым в 1827 г. церковнославянского текста “Убиение святого Вячеслава, князя чеська” по рукописи Торжественника XVI в. Румянцевского собрания. Впоследствии был открыт и издан па основе древнерусской рукописной традиции целый корпус текстов западнославянского, чешского происхождения, прежде всего различные редакции житий князя Вячеслава и его бабки княгини Людмилы. Кроме этих текстов А.И. Соболевский обнаружил в древнерусских списках ряд памятников с бесспорными признаками чешско-моравского происхождения, проникших на Русь еще в домонгольскую эпоху. И все же именно произведения вацлавского цикла X в. привлекали и продолжают привлекать пристальное внимание как чешских, так и русских ученых. Что касается “Повести об убиении Андрея Боголюбского”, прежде всего ее текста в Ипатьевской летописи, то сопоставления с ней отмеченных текстов “Жития Вячеслава Чешского” (минейной редакции и называемых по именам первооткрывателей “Востоковской легенды” и “легенды Никольского”) до сих пор не предпринимались. Однако они напрашиваются неоднократными уподоблениями в “Повести” князя Андрея героям произведений борисоглебского цикла, сходством сюжетных ситуации. Автор “Повести”, появившейся не ранее конца XII в., вполне мог бы знаком с хронологически более ранними на Руси списками произведений вацлавского и борисоглебского циклов. Ведь уже во второй половине XII в. во второй редакции древнерусского Пролога появляются краткие статьи, посвященные князю Вячеславу Чешскому и княгине Людмиле. Для автора “Повести” (учитывая особенности литературного творчества средневековья) более чем естественно обращение к традиции произведений вацлавского (западнославянского) и борисоглебского (южнорусского) циклов, рассказывающих о событиях становления национальной государственности. В этой же связи целесообразно рассматривать обращение ранних произведений владимирской литературы середины XII в. к древним фольклорным эпическим и обрядовым традициям (летописные рассказы-вставки 40—50-х годов XII в. о подвигах князя Андрея Юрьевича и “Сказание о чудесах Владимирской иконы”). В следующих за ними по времени произведениях (включая и “Повесть об убиении Андрея Боголюбского”) авторы стремятся припасть уже к истокам древнеславянской книжной культуры, в том числе и к созданному в первой половине X в. памятнику “Житие Вячеслава Чешского”. “Повесть об убиении князя Андрея”, как и “Житие”, изображает своего героя строителем, государственным деятелем. Князь Андрей погибает, но в отличие от юных Бориса и Глеба он успел многое совершить за свой век. Уникально для древнерусских памятников раннего периода описание храмового строительства князя Андрея, а также повторение этой темы в середине и в конце произведения. Но ведь именно в таком ключе, пусть не столь пространно, характеризовались заслуги князя Вячеслава в посвященном ему житийном памятнике: “Церкви же бе устроил по всем градом добре велми, бо жия рабы собрав ото всех язык воину, служба идеть но вся дни к богу, яко и в велицех языцехъ устроением добраго и праведного владыки Вячеслава. И вложи бог в сердце: созда храм святого Вита”... Вячеслав бежит от убийц к церкви и принимает смертельный удар в церковных вратах. В финале жития появляется образ храма над телом князя Вячеслава как идеальный образ, символ его вечной жизни: “В третий же вечер всим видящим церкви взиде над ним, и дивишася ту вси. И еще надеемса бозе молитвами и благоверием добраго Вячеслава и больши чудо явитися... И положиша и в церкви святого Вита одесную олтаря двою на 10 апостолу, идеже бе сам рек: «Сътворю церковь ту»”. “Чудо” явления церкви, которую создал князь Вячеслав, в тексте “Жития” находит параллель в плаче-прославлении князя, заключающем “Повесть” по Ипатьевскому списку. Лаврентьевская и иные редакции “Повести” в средней и заключительной части не содержат обращения к архитектурным реалиям. Наблюдаются многочисленные текстовые соответствия. В Ипатьевской редакции “Повести” заговорщики, как и в “Житии Вячеслава”, названы “злые съветники”. Уподобление их Иуде характерно не только для этих текстов, но и для Нестерова “Чтения” и анонимного сказания о Борисе и Глебе. Минейная редакция “Жития Вячеслава Чешского” содержит мотивировку причин заговора (“Тии же начаша подстрекати Болеслава на зло, реша: «Хошет тя Вячеслав убити князь, съвещався с материю своею и с мужми своими»”), близкую к той, которую дает и “Повесть об убиении Андрея Боголюбского” по Ипатьевской редакции» (Филитповский Г.Ю. Указ. соч. С. 119—121).
- ⁴² Там же. С. 118.
- ⁴³ Мф 27 57—60. Ср.: «Примь Тело Иосифъ, обить е плащаницею чистою» (Остромирово Евангелие. Л. 202), а также: «Позде же бывшу, прииде человек богатъ от Аримафеа именовъ Иосифъ, иже и тои учися у Иисуса. Се приступль к Пилату, проси Телесе Иисусова. Тогда Пилатъ повеле дати Тело; и приемъ Тело Иосифъ, обвить е плащаницею чистою и положи в в новемъ своемъ гробе, иже изъсече въ камени, и, възвали камень велии над двери гроба, отиде» (Геннадиевская Библия. Л. 610 // Библия 1499 года и Библия в синодальном переводе: В десяти томах. М., 1992. Т. 7. С. 113; курсив мой. — И.Д.)
- ⁴⁴ Мк 15 42—46. Ср.: «И уже позде бывшу, — понеже бе пятокъ иже есть къ суботе... — прииде Иосифъ иже от Аримафеа, благообразень съветникъ, иже и тьи бе чая Царствия Божия, дерзнувъ вниде къ Пилату

- испроси Тело Иисусово. Пилат же дивися, аще уже умре, и призвавъ сътника, въпроси его, аще умре? И уведевь от сътника, дасть Тело Иосифови. И *купивъ плащаницю*, и сънемъ Его, *обвить плащаницею*, и положи Его въ гробъ, иже бе иссеченъ от камне, и привали камень над двери гробу» (Геннадиевская Библия. Л. 626 // Там же. С. 181; курсив мой. — *И.Д.*).
- ⁴⁵ Лк 23 50—53. Ср.: «И се мужь именовъ Иосифъ, съветникъ сыи, мужь блажь и праведень, сеи не бе присталь съвету и делу ихъ, от Аримафеа града иудейска, иже чяяшеи тои Царствия Божиа. Се приступль к Пилату проси Тело Иисусово. И сънемъ Е, *обвить плащаницею*, и положи Е въ гробе иссечене, в нем же не бе никто же никогда же положень» (Геннадиевская Библия. Л. 626 // Там же. С. 284; курсив мой. — *И.Д.*).
- ⁴⁶ Софийская первая летопись старшего извода (Полное собрание русских летописей. Т. 6. Вып. 2). М., 2000. Стб. 375—396.
- ⁴⁷ См.: *Серебрянский Н.И.* Древнерусские княжеские жития: Обзор редакций и тексты. М., 1915. С. 250; *Кучкин В.А.* Повести о Михаиле Тверском. Историко-текстологическое исследование. М., 1974. С. 239; *Пак Н.И.* Стилевое своеобразие повестей об убиенных князьях великих в составе Великих Миней Четъх митрополита Макария // *Художественно-исторические памятники Можайска и русская культура XV—XVI вв.* Можайск, 1993. С. 155—170.
- ⁴⁸ Верхняя одежда типа хитона (см.: *СлРЯ XI—XVII вв.* М., 1980. Вып. 7. С. 386).
- ⁴⁹ Софийская первая летопись. Стб. 392.
- ⁵⁰ *Рохлин Д.Г., Майкова-Строганова В.С.* Рентгено-антропологическое исследование скелета Андрей Боголюбского // *Проблемы истории докапиталистических обществ.* М.; Л., 1935. № 9—10. С. 159.
- ⁵¹ *Рабинович М.Г.* Судьбы вещей. М., 1964. С. 87.
- ⁵² Мф 5 30.
- ⁵³ Ипатьевская летопись. Стб. 551—553.
- ⁵⁴ Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского: Ранняя русская редакция. М., 1998. С. 455.
- ⁵⁵ Ипатьевская летопись. Стб. 594. Ср.: «И взяли Иудеи добычи их и награбленное ими, и отрубили голову Никанора и правую руку его, которую он простирал надменно, и принесли, и повесили перед Иерусалимом» (1 Мак 7 47).
- ⁵⁶ 1 Пар 29 19.
- ⁵⁷ Пс 7 11.
- ⁵⁸ Пс 10 2.
- ⁵⁹ Пс 31 11.
- ⁶⁰ Пс 35 11.
- ⁶¹ Пс 63 11.
- ⁶² Пс 93 15.
- ⁶³ Пс 96 11.
- ⁶⁴ Пс 124 4.
- ⁶⁵ Еккл 10 2.
- ⁶⁶ Иез 16 3, 5—6, 8—10, 14, 38—39, 42, 60, 62.
- ⁶⁷ Мк 14 51.
- ⁶⁸ Быт 9 18—29.
- ⁶⁹ Впрочем, автор не исключает, что в основе анализируемых описаний могут лежать и иные тексты (возможно, апокрифические) — не найденные пока им самим. До обнаружения литературных параллелей, *подтверждаемых текстологически*, все предложенные «прочтения» носят лишь вероятностный характер. Следовательно, не исключены и иные (возможно, принципиально иные) трактовки приведенных «казусов».

Статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант 00-01-00067a)